

# 1

Ударил ком земли, и скоро Бунин оказался под землей, где так оказаться боялся.

Ком земли был мерзлый, подали его по традиции на лопате, и эта чужая смерзшаяся земля, в неожиданно жестокий парижский мороз, хоть чем-то напоминала родину.

Иногда люди кричат у могилы: “Ему (ей) холодно там!” — так начинаются театральные истерики у гроба. Но здесь никто театральных истерик не устраивал. Все одиннадцать человек, провожающие Бунина в окончательный путь, вели себя сдержанно. Одни — потому что это была для них обычная рутинная служба, другие — потому что были людьми русской интеллигентской культуры и изменять ей не умели. Кладбищенский священник, Вера Николаевна Муромцева-Бунина, Татьяна Сергеевна Конюс, Борис Юльевич Конюс, князь Голи-

## ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ

цын с женой, Леонид Федорович Зуров и четверо певчих.

Все одиннадцать человек встали очень рано, еще затемно, часов в шесть. По французским законам тело должно быть перенесено из временного обиталища и захоронено до девяти утра. А утро было суровое, на улицах расцвела гололедица. Стало подниматься солнце, и парижский снег порозовел.

Когда мы читали бунинский рассказ “В Париже”, нам в голову не приходило, что героиня, схоронившая своего возлюбленного, тоже ехала обратно ранним утром. Правда, там и дело было весной.

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, — читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза... Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной — и о ее, конченной. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

Вера Николаевна над гробом ничего не кричала, но все пережила мучительно. Это погребение да-лось ей трудней, чем торжественное отпевание Ивана Алексеевича на рю Дарю.

(...“Рю Дарю”. Это парижская улица в восьмом округе. Какая неуместная, на русское ухо, рифма. Рю — дарю. Да и смысл: он не может не выскочить вдруг — даже если ты говоришь на французском с детства, как на родном.)

Кто-то вспоминал потом: служба была простая, строгая, чем-то напоминала фронтовое погребение. И голоса четверых певчих быстро таяли в морозном воздухе.

Отче наш, Иже еси на небесѣх!  
 Да святится имя Твое, да придет  
 Царствие Твое,  
 да будет воля Твоя, яко на небесѣх и на земли.  
 Хлеб наш насущный даждь нам днѣсь;  
 и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем  
 должником нашим;  
 и не введи нас во искушение, но избѣви нас  
 от лукаваго.  
 Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца,  
 и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно,  
 и во веки веков. Аминь.

Пока хор пел эти строки на церковнославянском, одноногий князь Голицын, который на кладбище приехал со своей женой на стареньком автомобиле (он шоферствовал как раз в те времена: работал в Красном Кресте, обслуживал старческий дом; да, но ты не можешь отделаться от мысли: как же он шоферствовал, если был одноног? — однако ты гонишь эту мысль, больше всего тебя царапает тут, что князь вообще должен шоферствовать: “бывшие” люди, прошлое величие, тоска и одновременно спасительность эмиграции), опустил на единственное колено, опираясь при этом на сильно сношенные костыли, и, подняв к парижскому морозному небу выцветшие слезящиеся то ли от возраста, то ли от понятной печали глаза, стал подпевать нетвердым, как будто надколотым голосом: “Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...”

Гроб был опечатан. Как письмо. Сургучными печатями. Куда уйдет это письмо? Кто прочтет его? Кому мы вообще посылаем себя, как письма при жизни? Кому нас потом посылают, как письма или, точнее, как посылки — до востребования?

Гроб стали опускать в яму, но эта посылка не хотела уходить: долго цеплялась за углы узкой могилы. Но и тогда никто — слава богу — не закрыл

чал: “Ему же там холодно!” Люди умели не устраивать пустых истерик, да и жизнь им показала, что есть в этом мире что-то более важное, чем наши расстроенные театральные нервы.

Потом гроб с Буниным тяжело ухнул вниз.

Вот тут на лопате и подали землю.

Парижская земля смерзлась черными (нечерноземными) зернистыми ледяными комьями. Вера Николаевна стянула с холодной руки шелковую тонкую перчатку; оцарапав пальцы, отломил от смерзшегося комка земли несколько “катышков”; бросила их в яму.

Однажды Борис Зайцев вспоминал, как в 30-е годы в Грассе, на одной из вилл (мы еще вспомним о них мельком, когда жизнь, текущая наоборот, позволит нам это сделать), на берегу большой воды (мне так нравится это выражение: “на берегу большой воды”, “на берегу малой воды”, “на берегу быстротекущей, как жизнь, воды”) Бунин вдруг засучил рукава и показал своему неслучайному собеседнику руку.

Грасс, свет, солнце, море... Иван в соломенном канотье, белой рубашке с короткими рукавами, в белых панталонах и туфлях белых на босу ногу... Иван не купается. Просто сидит на берегу, у самой воды, любит море это и солнечный свет.

## ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ

Набегают, набегают волна, мягкими пузырьками рассыпается у его ног — он босой теперь. Ноги маленькие, отличные. Вообще тело почти юношеское. Засучивает совсем рукава рубашки.

— Вот она, рука. Видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты мой, сгниет... Ничего не поделаешь.

И на руку свою смотрит с сожалением. Тоска во взоре. Жалко ему, но покорности нет, не в его характере. Хватает камешек, запускает в море — ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующе. Ответ кому-то. “Не могу принять, что прахом стану, не могу! Не вмещаю”. Он и действительно не принимал изнутри: головой знал, что с рукой этой будет, душой же не принимал.

Теперь же ни у души, ни у руки никто ни о чем не спрашивал. То, что когда-то было Буниным, “упаковали” в цинковый гроб. Это было его пожелание: он не раз говорил, что ему страшно думать, что к нему в гроб заползет змея.

Покуда март гудит в лесу по голым  
Снастям ветвей, — бесцветна и плоска,  
Я сплю в дупле. Я сплю в листве тяжелым,  
Холодным сном — и жду: весна близка.

Уж в облаках, как синие оконца,  
 Сквозит лазурь... Подсохло у корней,  
 И мотылек в горячем свете солнца  
 Припал к листве... Я шевелюсь под ней,  
 Я развиваю кольца, опьяняюсь  
 Теплом лучей... Я медленно ползу —  
 И вновь цвету, горю, меняюсь,  
 Ржусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.  
 Где суше лес, где много пестрых листьев  
 И желтых мух, там пестрый жгут — змея.  
 Чем жарче день, чем мухи золотистой —  
 Тем ядовитей я.

И пусть в стихотворении “Змея” речь у Бунина идет о марте, но “посылке”, отправленной в неприхотливую вечность, слишком долго идти до “адресата”: пройдет эта холодная осень, мерзлая зима, придет французский март, но некому было тебя еще при жизни утешить тем, что даже если ты чего-то сильно боишься, в конце концов оно не обязательно сбудется.

Тэффи когда-то написала (она, кстати, тут рядом, умерла примерно на год раньше): “Несколько дней тому назад навестила Бунина. У него вид лучше, чем был на юбилее. С аппетитом поговорили о смерти. Он хочет сжигаться, а я отговаривала”.

Может быть, зря?

“На похоронах было одиннадцать человек”. Все перечитываю эту фразу, а она, как назло, попадает в файл: я пишу текст, что-то копирую из папки с именем “Жизнь наоборот”, что-то стираю, какие-то факты опускаю в черновике вниз (еще пригодятся), а эту фразу стереть забыл. И вот она иногда всплывает. “На похоронах было одиннадцать человек”. Значит, вместе с Буниным двенадцать. Бунин ненавидел Блока за его поэму. Впрочем, не только “Двенадцать” ему не нравились. Нина Берберова вспоминала: “В гостях у Бунина вынули с полки томик блоковских стихов о Прекрасной Даме. Он был весь испещрен нецензурными ругательствами, которые раньше называли заборными”. Да и Ходасевичу желчный Иван Алексеевич написал: “А что бы сказал Александр Сергеевич покойный об оном Блоке? Боюсь, что очень матерно, невзирая на то, что сей печальный глупец совсем не лишен дарования”. Вот Блок Бунину и “отомстил”. Двенадцать их было на том кладбище, двенадцать.)

Итак, никаких кремаций. Вера Николаевна выполнила бунинское завещание.

...чтобы лицо его было закрыто, “никто не должен видеть моего смертного безобразия”, никаких фотографий, никаких масок ни с лица, ни с руки; цинковый гроб <...> и поставить в склеп. И, сла-

ва Богу, все было как он хотел, за исключением того, что служба была торжественная, но о ней ниже. Мы вытащили его диван в столовую, поставили на место моего, покрыли белой простыней, и когда переложили тело, уже одетое, на эту его постель, то, скрестив руки, я вложила деревянный маленький крестик в руку и закрыла его лицо. Кроме нас трех, видело его еще трое, когда его положили в гроб. Последние дни лицо его было прекрасным. Я неоднократно прощалась с ним и была счастлива, что из-за праздника его оставили лишний день дома. Панихиды бывали ежедневно в половине седьмого вечера. Народу перебывало много. С каждым днем цветов было все больше и больше. В воскресенье посланы были телеграммы и письма <...>. В этот день я спала один час: уезжая, Зёрнов мне что-то впрыснул в руку. Когда я осталась одна, у меня был припадок печени, что мешало мне заснуть. С восьми часов я стала звонить по телефону. Первым позвонила Струве, так как у них уже был опыт с похоронами. И младший сын Алексея Петровича быстро ко мне приехал и очень помог. Позвонила Полонским и еще кому-то, Михайлову, Конюс взяла на себя Б.С.

Спокойно на погосте под луною...

Крестов объяття, камни и сирень...

## ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ

Но вот наш склеп, — под мраморной стеною,  
Как темный призрак, вытянулась тень.

И жутко мне. И мой двойник могильный  
Как будто ждет чего-то при луне...  
Но я иду — и тень, как раб бессильный,  
Опять ползет, опять покорна мне!

Стихотворение так и называется — “Смерть”.  
Но откуда такой страх?

С детства он этой темой заморожен. Бойтся.  
Не может смириться, бунтует. Мы помним этот  
гладкий камешек. Который летит и скользит по по-  
верности большой воды.

Говорил: “Жизнь нам Господь Бог дает, а отни-  
мает всякая гадина”. (Гадина, гад, змея. Опять эта  
ползучая тема.)

Даже с тем, как обходятся с мертвым телом,  
смириться не мог:

Умер человек и как можно быстрее его увезти.  
Я хотел бы, чтобы меня завернули в холст и от-  
правили в Египет, а там положили бы в нишу на  
лавку, и я высох бы. А в землю — это ужасно.  
Грязь, черви, ветер завывает.

Когда умирал кто-то из близких или знакомых,  
на их похороны не ходил, ну или ходил крайне ред-